

ДИНА РУБИНА



Эх, шарабан мой,
шарабан...



Содержит
нецензурную
брань! 18+

На солнечной стороне

Дина Рубина

Эх, шарабан мой, шарабан...

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Эх, шарабан мой, шарабан... / Д. И. Рубина — «Эксмо»,
2022 — (На солнечной стороне)

ISBN 978-5-04-168097-8

В авторский сборник собраны рассказы на тему «человек и судьба». Рубина выводит свою формулу взаимоотношения человека и судьбы. Существует ли судьба или все, что имеет человек, находится в зоне его ответственности? Можно ли изменить судьбу? Откупиться? Избежать ее приговора? На эти вопросы автор дает ответы в художественной форме. Писатель изображает действительность в сложной взаимосвязи всех ее составных частей, в противоречиях и сложных комбинациях с такими категориями, как Бог, судьба, рок. Без упрощений. Ее называли Маша-шарабан, по известной кабацкой песне, которую лучше нее никто не исполнял: «Ах, шарабан мой, эх, шарабан мой, не будет денег, тебя продам я...» Действительно, из тех ловушек, что расставляет нам судьба, можно вывернуться, выкрутиться. Продав ли шаль, сережки, шарабан («Медальон») или... отказавшись от любви, призвания, жизни («Туман»). Но обыграть судьбу невозможно. Ровно через семь лет счастливого супружества, как и предсказывала гадалка, погибает Миша («Заклятье»), всю оставшуюся жизнь вынужден мучиться непоправимостью ошибки Давид («Бессонница»). Но судьба переменчива. Отбирая одно – дает другое. Не важно, что ты этого не просил. Судьба не Дед Мороз, чтобы исполнять желания! Зачем-то ниспосланное ею тебе нужно («Высокая вода венецианцев»). Оглянись и подумай! Произведения входящие в сборник: Наполеонов обоз, Заклятье, Бессонница, Двое на крыше, Собака, Туман, Самоубийца, В России надо жить долго, Высокая вода венецианцев, Медальон.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-168097-8

© Рубина Д. И., 2022

© Эксмо, 2022

Содержание

Рассказы	7
Собака	7
Заклятье	22
Бессонница	25
Двое на крыше	28
И когда она упала...	30
Туман	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Дина Рубина

Эх, шарабан мой, шарабан...

В оформлении переплета использованы иллюстрации:

© NesaCera, grynold, Kittibowornphatnon,

Anna Selina / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Рубина Д., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Рассказы

Собака

Он прощался всегда намеренно небрежно и не позволял ей провожать себя. Считал – не стоит привлекать внимание судьбы к этим прощаниям, чтобы, чего доброго, той не пришлось в голову поставить под одним из прощаний свой беспощадный росчерк.

Судьбы он боялся и никогда не строил планы дальше, чем на завтрашний день, – боялся, что судьба обозлится на него за легкомысленную самоуверенность. Может, это было единственным, чего он боялся в жизни...

А в этот раз даже не смог забежать к Ирине перед поездкой – с матерью случился очередной сердечный приступ, и после вызова «Скорой» он просидел весь вечер дома – неловко было оставлять мать одну.

Ирина ждала его, конечно, волновалась, надо было позвонить, и он долго приготавливался к этому звонку – выкурил две сигареты, написал ответ на деловое письмо, которое валялось уже месяц на холодильнике, посмотрел по телевизору мультик. И оттого, что звонить надо было непременно, и оттого, что он знал заранее ее слова и интонацию, с которой эти слова будут произнесены, в нем возникло и завибрировало раздражение, как частенько случалось в последний год, – зудящее раздражение на мать, на Ирину – на этих двух женщин, делающих жизнь его непереносимой.

Набирая номер и глядя исподлобья на экран телевизора, где копошилось на стволе диковинного растения какое-то диковинное сумчатое, он подумал: ее можно понять, она, конечно, устала...

– Ира! – бодренько начал он. – Тут такое дело, понимаешь. Я никак не смогу сегодня. У мамы приступ был, «Скорая» только уехала... Ну, ты сама понимаешь...

– Понимаю, – спокойно сказала Ирина. Но он-то знал подкладочку этого спокойствия. Да, подумал он, конечно, устала за эти годы. И я устал. Но что же делать, что же делать...

– Ну, до завтра обойдется, я надеюсь, – продолжал он. – А утром Андрей заедет за мной.

– Ага... – рассеянно, как ему показалось, ответила Ирина. И это его насторожило.

– ...За мамой здесь тетя Люба присмотрит. А я дней через пять – назад... Может, и раньше... Посмотрим, как там сложится.

– Ясненько, – ровно проговорила она, и он понял, что весь этот тон, разумеется, – протест.

– Ирина! – крикнул он. – Ну, что такое?!

– Езжай, ради бога, – сказала она сломавшимся, как перед плачем, голосом и повесила трубку.

Он схватил пачку сигарет и пошел на балкон – покурить.

Мать спросила вслед:

– Мадам в претензии?

– Оставь меня в покое! – огрызнулся он.

– Бедняжка! Никак не может дождаться моей смерти! – Когда речь шла об Ирине, мать всегда переходила на патетический тон, у нее это хорошо получалось, она всю жизнь вела драмкружок во Дворце пионеров.

Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел, как внизу, во дворе, Славик моет новые «жигули». Он так любовно протирал тряпочкой помидорно-красную крышу машины, что хотелось, как в школьном детстве, стряхнуть на эту идеально лаковую гладь пепел от сигареты.

Мать, лежа на диване, продолжала что-то говорить. Он вздохнул, придавил окурки о перила и толкнул в комнату балконную дверь.

– ...и пересидит, переждет, конечно... И захапает тебя! – торжествующе закончила мать. Монолог был неизменный, с незначительными вариациями.

– Лежи, пожалуйста, спокойно, – миролюбиво сказал он. – Тебе нельзя волноваться. – Но не выдержал, процедил сквозь зубы: – И не трогай Ирину, сколько можно просить тебя!

За Бричмуллой они свернули на узкую пыльную дорогу и долго еще петляли по ней, поднимаясь все выше. Андрей остановил «ниву» на небольшой поляне.

– Ну вот, – сказал он. – Доползли... Как тебе здесь – глядится?

Внизу горбились горушки, окрашенные в охру, от темной до золотистой, с желтыми и зелеными пролысинами, над горами вздымались красновато-бурые скалы. Над всем этим дыбилось жаркое пустое небо.

– Что, нормально... – сказал он и выбрался из машины.

Поляна, на которой они остановились, заросла травой и кустарником. Повсюду торчали огромные фиолетово-чернильные шапки чертополоха, узорчатые желтые шапочки бессмертника.

Он огляделся вокруг и, закрыв глаза, глубоко вдохнул воздух, напоенный хрупкими тянущимися запахами.

– Лимонник... шалфей... – узнавал он. – Что еще? Мята... душица...

Чуть поодаль сбились в хилую рощицу дикие яблони. Над рощицей в скалу уперлась огромная арча, выгнутая саксофоном.

– Смотри, саксофон, – кивнул он Андрею.

– Ага, я по нему ориентировался... – ответил тот, доставая из машины сложенную палатку и тугие бокастые рюкзаки. – У нас тут дневка была в прошлом году, когда без тебя ходили...

Андрей возился с палаткой, искал в машине запропастившиеся колья, чертыхался, а он стоял и молча оглядывал такое огромное и все-таки тесное пространство, загроможденное скалами.

Со студенческих лет они сплавлялись на катамаранах по горным рекам, ходили с ребятами в походы по два-три раза в году – казалось бы, и привыкнуть можно, – но каждый раз он вновь тихо изумлялся этим громадам и задыхался, жадно глотая этот воздух.

– Виктор, поддержи! – позвал Андрей.

Он встрепенулся и пошел помогать другу ставить палатку.

Давно уже он признался себе, что завидует Андрею. Тому, как сдержанно и спокойно властвует Андрей в своей жизни. Тому, как преданно заглядывают в глаза ему Вера и мальчишки. Да и в деле своем – не с наскоку, а верно и основательно забирался Андрей все выше – недавно его назначили главным инженером крупного завода. А одногодки, между прочим, одногодки... Что там говорить! – Андрей был человеком удачи. И сильнее всего Виктор завидовал его семейной жизни. Как-то сумел Андрей вылепить себе половину, не сломав женщину, не повредив ее достоинство. Здесь даже не скажешь – повезло. Нет, сам сделал, сам – Верка была в институте безалаберной и дурашливой девчонкой. И не полезешь ведь в душу, не спросишь – что и как.

Взять нынешнюю вылазку: решили без женщин идти – Вера спокойно, молча сложила мужу рюкзак; если бы в последний момент Андрей велел ей собираться – собралась бы за десять минут так же спокойно и споро. Не было в их союзе междоусобиц из-за какого-то дурацкого самолюбия. Самолюбие растворялось в любви и безоговорочном доверии друг к другу.

А у Ирины ее самолюбие – бастион, не подступишься.

«Да... – подумал он, забивая камнем кол в мягкую землю. – Да, все дело в безоговорочном доверии... Как же они договорились об этом? С самого начала? Или вовсе ни о чем не договаривались?»

– Сильнее натягивай, – привычно командовал Андрей. Он умел погружаться целиком в дело. Худощавый, жилистый, с всклокоченной шевелюрой – сейчас он был поглощен устройством жилья.

Палатка была двухместная, отраднo-желтенькая – хорошая палатка, польская, купили в складчину для таких вот вылазок вдвоем.

– Перекусим, да? – спросил Андрей, стягивая майку и энергично вытирая ею потные грудь и спину. – Посмотри, что там Верка в рюкзак натолкала.

– Ого, чего тут только нет! – удивился Виктор, доставая из рюкзака пакеты. – Это что? Курица? Яйца. Огурцы. Сало... Чего-то непонятное в бумаге.

– А, это ценная вещь, – заметил Андрей, заглянув в рюкзак через его плечо. – Пирог с капустой. Вершина творчества. Ты пошарь, там и грибочки в банке должны быть.

– Эх, черт, и куда я смотрел в институте! – воскликнул Виктор. Обычная шутивая реплика, дежурный застольный комплимент талантам Верки. Андрей на эту реплику неизменно промалчивал. Произошел с ними непонятный такой случай лет пять назад.

...Весной, набрав отгулы, решили вчетвером пройти по Чаткалу на катамаране. Андрей – командиром, как всегда. Дима и Сурен шли второй раз всего, а речка сердитая была, с характером. Порогов этих, водоворотов, камней! Да, гордая речка, горная, ее оседлать непросто.

Помнится, на второй день похода у него лопнул ремешок от шлема, но до сих пор не вспомнить – почему Андрей-то без шлема оказался. Спасательные жилеты были, верно, да только от них мало толку на этих горных речках. Течение бешеное – пошвыряет башкой о камни, и никакой жилет не спасет.

Андрея вышибло из катамарана неожиданно, стволом сухого дерева, низко наклоненного с берега над водой. Виктор сидел вторым, за Андреем, и когда того выбило в воду, вдруг увидел, что Андрей-то без шлема, и бросился за рыжей шевелюрой, крутящейся в водоворотах между камней. Прыгнул, не вспомнив о собственной незащищенной голове. Андрей плавать не мог, вот в чем было дело. И по сей день не научился плавать, урбанист чертов.

Здорово побило их обоих, пошвыряло вдоволь, наглotalись; но Андрея – полуживого, он – полуживой, все-таки выволок.

Ребят – Диму и Сурена – отнесло дальше, они растерялись, неопытные.

Андрей просил Вере о приключении не говорить. Но уже в городе, когда ждали автобуса, Дима позвонил из автомата жене и случайно проболтался. Та, конечно, немедленно позвонила Верке: мол, встречай своих героев покалеченных...

Инвентарь – скатанные катамараны, палатки, весла – хранился всегда у Андрея в кладовке, после походов первым делом вваливались к нему, это уже традицией стало. Так что свидетелями сцены в прихожей были все.

Позвонили. Верка за эти полчаса, видно, успела наплакаться – открыла дверь зареванная, с набрякшими веками, и, когда увидела его перевязанную руку, вдруг завывала и бросилась, да не к мужу, а к Виктору – обняла за шею, прижалась, больно налегая на поврежденную руку. Он растерялся и даже испугался, когда поверх ее припавшей головы увидел незнакомое, какое-то гипсовое лицо Андрея.

– Вера, я – вот он, – хрипло, спокойно сказал Андрей...

Сурен выручил – засмеялся; воскликнул с кавказским акцентом:

– Правильно, женщина! В ноги кланяйся! – Сурен редко пускал в ход этот акцент, но всегда кстати. – Он тебе кормильца спас, отца твоих детей!..

...Месяца три после этого странного случая он не появлялся у Андрея, и тот не приглашал. Потом чей-то день рождения подкатил, нельзя было не встретиться – и сгладилось, выровнялось... Но изредка он вспоминал лицо Андрея, каким было оно в тот миг – бескров-

ным, смертельно-спокойным, – и осторожная мысль пробежала: а может, Андрей не так уж и счастлив, как представляется?

...– Слушай, это какая-то дивная курица, – заметил он, оглаживая смуглое крылышко. – Это не курица, а райская птица.

– Да, Верка ее с майонезом делает, с орехами...

– Сациви называется, кацо...

– Нет, это по-другому, в духовке, кажется. А тебе не все равно? Ешь, – Андрей выломал куриную, перламутровую от майонеза, ногу и протянул ему. – Женись, тебе Ирина тоже готовит.

– Даже самая дивная курица не стоит такой жертвы, – отшутился Виктор.

...Когда мылись, поливая друг другу воду из канистры, Андрей еще раз настойчиво спросил:

– Чего не женишься, бобыль?

– Отстань, – отмахнулся он, снимая с плеча Андрея полотенце. – Дай хоть здесь пожить спокойно.

– Нет, правда?

– Я тебе сто раз говорил: не могу я мать оставить, она больной человек! – Он начал раздражаться. – А вместе они не уживутся.

– Сам виноват.

– Может быть... – Он вздохнул. – И потом, Илюшка растет, возраст у него сейчас самый противный – четырнадцать... Он отца помнит хорошо... Знаешь, временами я такие его взгляды на себе ловлю...

– Еще бы не глядеть ему! Парень видит, как маме весело живется... Смотри, останешься когда-нибудь и без жены, и без матери.

– Значит, судьба такая, – усмехнулся он.

– Не судьба, а ты – дурак, – спокойно сказал Андрей, взял из рук его полотенце и пошел к палатке. Крикнул оттуда: – Я – пас! Лезу дрыхнуть.

...Солнце стояло еще высоко, трава звенела, тренькала, жужжала и зудела, и все это сливалось с теплым ветром в ровно дышащее молчание гор. И в густоте насыщенного звуками молчания раздавалось то далекое ржание пасущегося коня, то лай чабанской собаки.

Он накинул рубашку и сказал:

– Андрей, я прогуляюсь...

Тот не ответил, наверное, уснул. Он подумал, что Андрей и вправду устал сегодня – все-таки за рулем, по горной дороге.

Через рожицу диких яблонь он вышел к подножию большого холма, на волнистом гребне которого паслись тонконогие кони, медально отпечатываясь на фоне акварельно промытого неба.

Он стал неторопливо взбираться, стараясь ничего не пропустить по пути – ни корявого деревца миндаля, ни ящерики, мелькнувшей по камню; вдохнуть в себя прогретую солнцем, пахучую благодать воздуха и не думать ни о чем – отбросить на эти пять дней тягостный бред своей городской жизни.

Навстречу ему на шоколадной лоснящейся кобыле спускался человек с ружьем за спиной. Подъехав, остановился и вежливо поздоровался. Это был мужичок-замухрышка, в телогрейке, в кирзовых сапогах.

Виктор угостил мужичка сигаретой, тот обрадовался, слез с лошади и охотно разговаривался.

– Егер я, – охотно пояснил мужичок. У него было живое простоватое лицо монголоидного типа. – Туда-сюда еду, смотрю. На кабан запрещение ест... Я – егер, такой должны строгий, смотреть нада...

Виктор объяснил егерю, что приехали вдвоем с приятелем – во-он их палатка, желтая, ружей у них нет, стрелять не собираются ни кабанов, ни куропаток. Отдохнут дней пять – и поедут... Места здесь красивые.

Егерь оживился и подтвердил, что места и вправду красивые, показал, как идти до водопада, – красавец водопад, метров двадцать высотой... Сказал – недалеко, километров пять до перевала, – знаменитая березовая роща, та самая, что еще при русском царе посадили. Каждый саженец в золотой обошелся.

Его шоколадная красавица гнула холеную шею, нехотя брала мягкими губами стебельки травы и, вскинув голову, косила каштановым зрачком.

– Там что – чабаны? – спросил Виктор егеря, кивнув на гребень холма.

– Чабаны, да, – заулыбался егерь. – Приятел бери, в гости ходи... Баран резать будем, шурпа, плов варить будем.

– Ну, спасибо, придем... – и он не удержался, похлопал кобылу по теплой шее, ощутив под ладонью упругую мощь лошадиного тела.

Егерь попросил еще сигарету, впрок, и вскочил на лошадь.

– Осторожно ходи, – посоветовал он. – Сыпун много, сель бывает... Вон там – он показал в сторону, где перекрещивались покатые гребни холмов, – там десят человек от сель погиб.

– Когда? – быстро спросил Виктор, почувствовав, как неприятно ткнулось и заняло что-то в сердце. – В семьдесят четвертом? Разве здесь?

– Издес, – подтвердил егерь спокойно, – все спартсмен был, карта маршрута был, все был... – Он вздохнул и тронул пятками лоснящиеся бока кобылы: – Хоп, отдыхай...

Виктор смотрел на круп удаляющейся лошади, на ватную спину егеря и пытался совладать с непонятным смятением.

Это была группа Позднышева, десять человек, и среди них – муж Ирины, Костя Мальцев... Да, Костя Мальцев, хороший парень... Как же он временами ненавидел его, мертвого, как ревновал Ирину – к имени, к памяти, к прошлым объятиям, – к мертвому ревновал.

Может быть, слишком явственно понимал в иные минуты, что она постоянно сравнивает их, сталкивает – мертвого и живого, и едва ли живой желанней ей и дороже...

Зачем же он оказался здесь, сейчас, что за беспощадная рука привела его сюда и развернула лицом к этим пустынным холмам – вот оно, место Костиной гибели. А теперь отдыхай – то есть мучительно и тщетно старайся выкинуть из головы хоть на пять дней ссоры с Ириной, Костиного сына, так похожего на отца, тяжелый характер матери, бесконечные визиты на дом врачей, однообразные телефонные разговоры – что еще?

– Переста-ань, – простонал он негромко, не понимая сам, к кому обращается: к себе ли, к Ирине, к мертвому Косте или к тому тайному мытарю, что ведает обрывистыми тропками его судьбы, держит карту его маршрута. – Ну что ты, что ты? Почему?.. Не надо, не мучай, не мучай!

...Он повернул в противоположную сторону и долго, изматывая себя, взбирался меж камней и кустов на крутой каменистый холм и, когда взобрался наконец на гребень, почувствовал, что обессилел.

Он повалился в траву – грудью, щекой, – в этот пронизывающий запах сырой земли и нескончаемой жизни, и долго лежал так, бессмысленно изучая торчащий перед глазами кустик молодого лимонника, еще какую-то тонкую травку с фиолетовой робкой крапичкой цветка.

Он перевернулся на спину, раскинул руки, принимая на грудь это любимое, непостижимое небо, и молча заплакал... Такое с ним бывало... В одиночестве, в горах или на море, он иногда плакал от сладкой ностальгической тоски по уходящей жизни. Всегда, с самого детства,

очень остро он чувствовал мимолетность своей жизни и трепетно относился к прошлому, часто перебирал в памяти, перетряхивал – берег его, как бережет хозяйка и прячет дорогие вещи в шкафу.

Он вспомнил прошлогоднюю поездку в горы, весной, с Ириной и Илюшкой, ее синюю панамку – смешную, с огромной, как у клоуна, пуговицей на макушке. Илья ушел в поселок за пивом, а они валялись в палатке, решали кроссворд и долго не могли отгадать слово «эротика», когда же наконец отгадали, то взглянули друг на друга и расхохотались, он выкатил глаза, сделал алчное лицо и повалился на нее, она же, изнемогая от смеха, отбивалась и вскрикивала: «Виктор,пусти, перестань, ну! Сейчас ребенок вернется...» А через полчаса поссорились, яростно, из-за какой-то чепухи; видели, как по склону с тяжелой авоськой поднимается Илюшка, улыбается, победно машет им бутылкой пива, и – не могли остановиться. Впрочем, Илья не раз уже бывал свидетелем остервенелых ссор, ему не привыкать...

В последние месяцы раздражение стало прочным и, как ему казалось, чуть ли не единственным оттенком отношения к Ирине. Иногда он даже спрашивал себя: «И это любовь?»

Тогда он представлял, что она умерла. Ирина. Приходят и говорят: она умерла....Нет, не так. Звонят. Чужой спокойный голос в трубке. Говорят: она умерла. И по тому, как хватал его паралич ужаса в эти минуты, он понимал, что обреченно любит ее...

Последний раз он видел ее неделю назад. Утром выписал на работе городскую командировку, быстро уложился с делами и к обеду уже звонил в родную дверь, обитую коричневым дерматином. Ирина, видно, выскочила из ванной – была в махровом халате, с круглой, как у ребенка, намыленной головой.

– Привет! – обрадовалась она. – Молодец, что пришел. Покрась меня, а то я не вижу сзади... – и убежала в ванную.

Он открыл холодильник, отрезал кусок сыру и так жевал, стоя у окна в кухне. Ирина вышла из ванной с полотенцем на голове.

– Не хватай сухомятку, пожалуйста! – Она всегда сердилась, когда он ел стоя, на бегу, как придется. – Покрасишь меня, и сядем обедать. У меня рассольник и голубцы.

– Голубец ты мой, – он глядел в окно и рассеянно жевал.

– Понимаешь, сегодня Аскарянц устраивает банкет после защиты. Не могу же я пугалом идти! Меня Илюшка всегда красит, а тут я забыла с ним договориться, и он на тренировку побежал.

– Кто оппонент у Аскарянца?

– Москвич какой-то. Интересный, в очках, с шевелюрой эдакой. Я фамилию забыла... Вот, смотри, – она уселась перед зеркалом, выдавила в чашку из толстого тюбика вишнево-бурую змейку, размешала, – вот тебе щетка. Окунай и тщательно крась каждую прядь. Особенно у корней прокрашивай. Ясно?

– Ясно, гражданка клиентка, – он встал за ее спиной, взял старую зубную щетку с растрепанной щетиной, тоже вишнево-бурой, окунул ее в раствор и приподнял прядь волос на затылке Ирины.

Почти вся прядь была седой. И это почему-то испугало его. Он привык, что Ирина молодо выглядит, он вообще привык к ней и давно уже не всматривался в ее лицо, волосы, фигуру, как не присматривался к себе. И эта, неожиданная для него, седая прядь – ошеломила.

– Ира! – воскликнул он и стал судорожно ворошить волосы на ее голове, надеясь, что это просто попалась такая прядь, что сейчас он ее закрасит и все будет о'кей... Нет, седины было много, очень много.

Ирина засмеялась и мотнула головой:

– Ну, не балуйся!

– Ира, ты вся седая!

– Сделал открытие, – невесело улыбнулась она и вдруг, подняв глаза, увидела в зеркале его изменившееся лицо. Они молчали и глядели друг на друга и в эти секунды, казалось, понимали такое, чего не могли понять все эти годы... Он молча наклонился и прижался щекой и губами к ее шее, там, где сидела круглая родинка. Ирина молчала, не шевелясь.

– Ну, давай краситься... – наконец тихо и медленно проговорила она. – Будем закрашивать нашу жизнь в красивый цвет.

...Он заметил, что вокруг много растет ревения, поднялся и стал рвать его – из ревения мать варила отличные кисели. Он снял рубашку, натолкал в нее ревения, завязал рукава и перекинул через шею, как хурджун через ишака...

Горячий дневной свет понемногу линял, остывал и стекал с неба в ущелье, где загустевал в вязкие сумерки. С вершины горы открывался дневной закат: солнце, налитое, с кровавой тяжестью в брюхе, грузно оседало в клубневую грядку облаков.

Театральное действо, подумал он, любясь закатом, и только сейчас ощутил глубокую тишину, в которой происходило это угасание дня. И сразу в тишине послышался шелест травы за спиной.

Он обернулся – шагах в пяти стояла собака, белая, в черных подпалинах, с обрубленным ухом. Стояла и молча смотрела на него желтыми глазами.

От неожиданности он вздрогнул и даже отступил на шаг. Непонятно было – откуда взялась собака. Откуда и чья она? Может, чабанская?... Она подбежала, стала молча ластиться, что было жутковато. Нет, не похожа на чабанскую. Те – собаки гордые, ничего у чужих не просят.

– Ну что ты, что ты? – спросил он, потрепав ее по голове, забирая в горсть единственное тряпичное ухо. Заговорил, чтоб услышать свой голос, хоть что-то услышать человеческое в этой томительной тишине. – Ты что здесь делаешь, а? Ну, чего молчишь?

Собака глядела на него, ждала.

– Ты есть хочешь? – догадался он. – Ах, бедолага... А у меня нет ничего. В палатке найдем, пошли... – Он повернулся и пошел, собака потрусила за ним.

– Пойдем, пойдем, – повторял он, стараясь не смотреть в ее странные желтые глаза.

...Прошли километра два, когда он вдруг понял, что заблудился. Это обескуражило его. Обычно он прекрасно ориентировался везде – в незнакомых городах, в лесу, в горах, а тут – на тебе, заплутал.

Горы уже померкли, сизыми тенями соскальзывали по ним облака, небо загустело, налилось фиолетовым, и на окраине его всплыла сумеречно-хрупкая луна.

Собака стояла у его ног и, подняв одну хвостовую голову, пристально смотрела. Две холодных луны плыли в ее глазах. Он отвел от собаки взгляд и огляделся, пытаясь сообразить, в какую сторону двинуться. Он искал арчу, выгнутую саксофоном. Но в сумерках, стремительно глотающих пространство, все труднее различались даже недалекие деревца.

– Хреновина какая-то, – буркнул он, повернул и пошел влево.

Показалось, что за острым выступом скалы будет тропка, по которой он поднимался.

Собака бежала за ним как привязанная, и с каждой минутой ему все больше становилось не по себе. В голову полезли дикие мысли: вдруг почудилось, что не за ним бежит она, а гонит его впереди себя, как гонит пастух бездумную скотину на бойню.

Два раза он оборачивался и громко заговаривал с нею, с собакой.

– Ты чего молчишь? – раздраженно спрашивал он, и собственный голос казался враждебным в этой темной тишине. – Ты скулить умеешь? А лаять? Вот так умеешь? – Он остановился и залился оглушительным лаем, с подвывами, порываясь.

Склонив голову набок, собака внимательно глядела ему в глаза. Наблюдала...

Он почувствовал, как страх цапнул коготком где-то в животе, и тихо выругался.

– Пошла! – крикнул он собаке. – Дура, все из-за тебя! Чего привязалась? Пошла отсюда!

Собака спокойно глядела немигающими желтыми глазами.

Он повернулся и побежал. Она – за ним, неторопливо, размашисто, словно была уверена, что никуда он не денется.

– Ах, ты так! – пробормотал он сквозь зубы, подобрал камешек и швырнул в нее. Собака отпрянула, мотнула головой и опять спокойно стала приближаться боком.

«Да какая это, к черту, собака! – смятенно подумал он. – Никакая это не собака!» – попытлся, не решаясь повернуться к ней спиной, подался назад, и вдруг нога его скользнула вниз, зашуршали камни, он упал навзничь и, чувствуя спиной и затылком перебор мелких камешков, стал сыпаться, сыпаться вниз по склону.

Он понял, что попал в сыпун и катится в пропасть. Перевернулся на живот, стал тормозить локтями, коленями, хватаясь за что попало, но безуспешно – медленно катился и катился вниз.

Собака тоже попала в сыпун, катилась за ним следом. Сыпались камни... Один крупный угодил в собаку; она завизжала пронзительно, задергала лапами, беспомощно пытаясь подняться и время от времени сваливаясь ему на спину.

Повезло с этой рубашкой, набитой ревенем, – дурацкая прихоть, а как повезло! – она, как подушка на шее, смягчала падение и слегка тормозила и защищала голову от падающих камней. Несколько раз ему удавалось застрять на минуту, уцепившись за колючий сухой кустик, и он лежал, почти бессознательно отмечая, как сплывала, съезжала по камням собака, как замедленны, расщеплены ее движения. Наконец она прикатывалась к нему, он с ней разговаривал.

– Думала, доконаешь меня? – хрипло спрашивал он, заглушая гулкие, дробные удары сердца и слыша, как колотится о его спину сердце собаки. – Я-то понял – кто ты... Да уж не молчи... скажи сразу – конец, что ли? – Облизнул запекшиеся, распяленные в напряжении губы, подумал: а ведь и вправду – конец! Застонал, дернулся и покатился вниз, и долго, бесконечно долго катился, пока не уперся ногами в валун.

Несколько мгновений он лежал, глядя в сочное, чернильно сгущенное небо, боясь пошевелиться. Валун качался, впереди внизу чернела пропасть, пасть ее дышала холодом.

– Приехали, – омертвело выдохнул он.

Сверху прикатилась собака, она молчала и тяжелым кулем давила на спину, дергалась, истекала кровью – парные струйки крови бежали по его шее, груди, спине. Майка намокла и неприятно липла к телу.

Он уже привык к собаке, привык катиться с нею по бесконечному пути в пропасть. Она была вечным спутником, товарищем по смерти. Собака была – судьба. Его собственная судьба с желтыми глазами, от которой он столько раз уворачивался.

– Вот ты где меня достала, – сказал он собаке. – Ну, ладно... сейчас полетим... сейчас... Да не дрыгайся ты, дура... Все уже кончено.

Он подумал вдруг, что Ирина сейчас в усталой горечи, в досаде и – бедная – не знает, что все кончено, что он погиб, его уже, в сущности, нет. Все кончено, и какая чепуха их ссоры, и мелкие и крупные, их жалкая грызня все эти годы, когда нужно было – так просто! – любить и любить друг друга. И как ясно это теперь, и как хочется жить, а надо гибнуть... Надо гибнуть, да не все ли равно – теперь уж все кончено и жить осталось две-три минуты, и те в темени, как и вся жизнь.

Боже ты мой, как бездарно жито-прожито, и чего хотел, и за чем гонялся? По каким рекам опасным убегал от нее, какую такую жалкую волю оберегал столько лет! На, давься теперь своей волей, захлебнись ею – собачьей кровью... Да, меня уже нет, а она не знает, бедная моя, не знает ничего и ничего не понимает, лелеет свою горькую усталость, пестует ее – свою обиду, а меня-то уже нет...

Его тошнило, тянуло в пропасть. Дрожащей рукой он стянул с шеи хурджун с ревенем и выпустил. Несколько секунд, раскинув полные рукава, рубашка летела вниз, и это слишком напоминало человека.

Краем глаза он увидел соседний валун, повыше. Пришла вдруг странная мысль: избавиться от собаки, раздвоиться с нею, уйти – от нее.

Одной рукой он уперся в валун, другой поднял собаку (она оказалась тяжелой), напрягся и перебросил за тот, соседний, камень.

– Ну вот... – пробормотал он. – Лежи... Ты теперь сама по себе...

Тут он заметил – слева, вверх по скале, насколько видно было в густеющей темени, – выдаются щербатые уступы. И он решился. Подтянул колени, перевернулся на живот и, ухватившись пальцами за первый уступ, пополз по скале.

Он полз медленно, осторожно, по одной подтягивая ноги, нащупывая ими пройденный руками выступ, и тогда принимал к еще не остывшим от дневного жара камням, отдыхал. Один раз обернулся: собака молча глядела вслед ему желтыми, лунными в темноте глазами.

– Прости, – сказал он ей. – Прости, так получилось...

Она молчала.

– Скажи хоть – за что? За Ирину?

Собака молчала...

Он отвернулся от ее глаз и стал карабкаться дальше...

Он полз по скале над пропастью, руки и ноги напряженно дрожали, мыслей не было, а все какая-то глупая шелуха крутилась в голове, как мусор в речном водовороте: что вот мать все точила его, просила прописать свою внучатую племянницу Галю, а он тянул, тянул, непонятно почему, и пожалуйста, дотянул. Или являлась вдруг перед глазами, залитыми мутным потом, белая эмалированная кастрюля, в которой мать варила кисели; мучительнее всего донимала родинка, одинокая и незащищенная родинка на плече Ирины, вернее, там, где плечо поднимается в шею. Это была любимая его родинка, и сейчас она просто не выходила из головы, сидела там, будто гвоздь, вбитый по самую шляпку.

Наконец ему крупно повезло – он наткнулся на площадку размером с табурет, выполз на нее, лег животом и долго лежал так, пока не понял, что сорвется, если не будет карабкаться дальше...

Теперь, когда за камнем он оставил свою желтоглазую судьбу с обрубленным ухом, ему казалось, что он уползает от смерти. Но нет, он полз вровень с нею, и она зорко следила своим желтым оком за каждым его движением, как следит озорник за мечущимся тараканом в ловушке умывальной раковины... Продлевать, сука, подумал он, забавляется. Его вдруг охватила жгучая ярость, желание немедленно оборвать это жалкое копошение, это трусливое уползание от смерти: сгруппировать тело и ринуться вниз, в клубящуюся сизым дышащим туманом пропасть, как прыгал он не раз с вышки в бассейн; но представил этот последний полет, острые камни внизу и опомнился, крепче ухватился за крошащийся под рукою выступ...

Отдохнул он на небольшой площадке, загаженной орлами. Так обрадовался, когда взобрался на нее, оскальзываясь в свежем птичьем помете, что сел, подобрал колени, и жалобно засмеялся. Пришла даже мысль дождаться здесь утра, ведь наверняка Андрей уже мечется, ищет его...

Черное небо дышало и роилось звездами – крупными, зеленоватыми и дрожащими, и мелкими – колючими булавочками. В небе происходила дальняя жизнь – что-то помигивало, шевелилось, перемещалось, срывалось и падало, и эта жизнь казалась враждебной, как и жизнь ночных гор. Он сидел на площадке, а сверху и вокруг тянулись холодные и непостижимые пространства.

С полчаса он сидел, дрожа от холода и напряжения, боясь поскользнуться – площадка была слегка поката, – и понял: надо ползти дальше. Его гнало неотступное ощущение погони, какой-то невидимой, но жестокой травли, и спасение было – в движении.

Внимательно осмотревшись, насколько позволял осмотреться мерклый свет луны, он заметил совсем рядом торчащие из трещины в скале сухие корешки, а ниже, один за другим, – выступы, прочные на вид; и решил спускаться вниз, в ущелье, по этой отвесной скале.

Он спускался, из-под кроссовок летели камни, крошились уступы, раз он чудом удержался, схватившись за кустик колючки, сильно ободрив при этом руки и щеку. И все-таки он спускался! Медленно, отбирая у желтоглазой каждый шагок вниз, не зная – как глубока эта пропасть и сколько еще придется так ползти...

Потом он наткнулся на длинный, узкий, опоясывающий скалу выступ, подумал, что эта тропка должна привести куда-то, и, подтянувшись, вскарабкался на нее, распластался грудью и руками по скале...

Тропка и вправду привела к тесной – шириною метра в два – расщелине, и он, обдирая руки и тело, стал спускаться по ней. Это была удача, так он продвигался гораздо быстрее, упираясь руками в стены расщелины, нащупывая ногами выемки в скале. Иногда, почувствовав ногою надежную опору, он отдыхал минуты две-три, расставив руки, как бы раздвигая ладонями расщелину.

Горячий пот бежал по спине и груди, щипал глаза, щекотал в носу. Минутами ему казалось, что он слепнет – все сливалось в едкую мглу. Он спускался на ощупь и не глядя поставил ногу в уступ, где свила гнездо птица. Она вылетела с испуганным криком, ударив его крылом по лицу, он сорвался и полетел вниз, и летел в расщелине несколько метров, ударяясь коленями и локтями о выступы, пытаясь ухватиться за что-нибудь. И когда рука скользнула по шершавому, колючему, он вцепился мертвой хваткой, повис, перехватил куст – это оказался дикий шиповник – другой рукой и, осторожно подтягиваясь, бормоча шиповнику: «родной... родной...» – выполз наконец на узкий выступ, шириною с тувель. Правая рука была в чем-то липком, горячем, струящемся, и он понял, что это кровь, и испугался, что вскрыта вена на запястье. Не отпуская колючие ветки шиповника, он прижался лицом к руке, надавливая щекою, пытаясь остановить кровь, и вдруг на соседнем склоне метрах в трехстах внизу увидел огни.

Альпинисты, понял он, еще не веря глазам – ночные восхождения, с прожекторами, – и заорал, заплакал, не ожидая в себе такой силы голоса.

Его услышали, ослепили прожектором, и через несколько секунд он увидел, где стоит. Внизу тянулась все та же пропасть, слева, у самого локтя, выпирал из скалы бурый валун. Внизу бежали ребята, размахивали руками, что-то кричали. Он понял по жестам: там, за валуном, – тропка... Нужно было перебраться как-то, перевалиться через камень, и это было последнее, что связывало его с желтоглазой, и это было уже не так страшно, потому что внизу бежали люди, кричали, размахивали руками.

Он обнял валун, перекинул ногу и почувствовал, что камень сейчас сдвинется и полетит в пропасть вместе с ним. Последним рывком он успел втащить свое тело на камень, и когда тот сдвинулся и накренился, он был уже на тропке и полз по ней вниз. А дальше – по мелкому сыпуну, почти без сознания, кубарем – к ребятам...

Он слышал какие-то голоса, чувствовал, как его тормозят, ощупывают, перевязывают руки, видел мелькание лиц и фигур, все это перемежалось с гулкой обморочной пустотой. Потом всплыло какое-то оранжевое пятно. В это пятно он сказал, с трудом ворочая распухшим прокушенным языком:

– Спасибо... Ребята...

– Тебе спасибо, за то, что жив, – ответило пятно. Это оказался дюжий парень в оранжевом анорাকে и вязаной шапочке с бомбоном. – Тут знаешь, какая ступень? Тут только в связке и со снаряжением лазают. Непонятно, как ты жив остался.

– Да, кино! – сказал кто-то рядом. – Сам сможешь идти?

– Конечно, что вы, ребята! – усмехнулся он, вернее, дернул какой-то застывшей мышцей лица, попробовал встать и тут же свалился кулем – ноги не держали.

Его подхватили под мышки, поволокли к палаткам и там уже, укутав спальниками, заставили выпить три стакана крепчайшего чая с невероятным количеством сахара.

Теперь, в безопасности, среди незнакомых, но таких теплых, родных людей, его колотил озноб, сменявшийся приливом горячей крови к голове.

В палатке с ним возились двое: дюжий парень в оранжевом анораке и совсем юная девчушка с ломким, как у подростка, старательным голоском. Лицо ее в глухом свете фонаря казалось серьезным и таинственным. Она смазывала зеленкой глубокие ссадины на его руках, на лице, на теле, долго возилась с пластырем, заклеивая что-то на спине.

– Ты, случаем, не из летающей тарелки? – поинтересовался парень в анораке. – Вроде для нормального человека маршрут необычный.

Виктор улыбнулся разбитыми губами.

– Погулять пошел, – проговорил он. – В сыпун... угодил...

Виктор вспомнил об Андрее и встрепенулся вяло:

– Пойду я...

– Сейчас, побежишь, – весело согласился «анорак» и велел девушке: – Ну-ка, укрой получше, смотри, как бьет его...

Виктор почувствовал, что его ловко, уютно накрывают, обволакивают густой истомной пеленой, и спросил сквозь сон:

– Как вас зовут?

– Ирина, – ответила девчушка старательным голоском.

– Ирина... – повторил он блаженно и вдруг уснул. Но сразу очнулся и забормотал: – Нет, ребята... мне идти... сейчас же, он там с ног сби... – и уснул опять на полуслове.

...Часа через три, на рассвете, его словно подбросило: «Андрей!» Ну да же, Андрей! Да что ж это он валяется здесь, черт возьми!.. Осторожно, чтобы не потревожить спящих рядом незнакомых ребят, наломавших за ночь на восхождении, он нашарил у выхода кроссовки, надел их и выбрался из палатки.

В ущелье, словно мыльная пена в корыте, плавали жидкие облака, зато небо и блескущие снеговые вершины, уже ограненные солнцем, были прозрачно чисты...

Неподалеку по седой траве в тощем облачке бродил конь, нагибая за травой шею, словно поминутно соглашаясь с чем-то. За конем ходила вчерашняя девушка, протягивала сахар на ладони и упрашивала старательным голоском:

– Красотуля моя, удостой вниманием, если в гости явился.

– Не унижайся перед ним! – «анорак» сидел у костра с консервным ножом в лапище, трудился над банкой тушенки.

Увидел Виктора и сказал:

– А-а, небесный тихоход выполз. Ну что, отец Федор, больше не погонишься за бриллиантами мадам Петуховой?

Девушка расхохоталась так, что конь испуганно прыгнул, а Виктор усмехнулся и похвалил:

– Классику знаешь... – В майке было холодно, его пробирала дрожь.

– Ну ты и разукрасила его, Ирка! – восхитился «анорак». – Он прямо весь как молодой зеленый побег!

Девчонка опять прыснула, а он подумал – ну и втюрился ты, «анорак», в эту Ирку, на пупе вертишься, чтоб она лишний раз фыркнула. И сказал:

– Ладно, ребята. Мой друг там, наверное, совсем перепуган. Спасибо вам огромное. Пойду я.

– Слушай, – парень отложил банку, поднялся и снял анорак. – На, надень.

– Что ты, зачем!

– Надевай, тебе говорят! Околеешь! – и почти насильно натянул просторный анорак на плечи Виктора.

Девчушка сказала:

– Будет повод в гости прийти, – у нее оказалось круглое, очень славное лицо.

– Вас правда зовут Ириной? – спросил он, и столько непонятого удивления было в его голосе, что «анорак» и девушка одновременно рассмеялись, и парень сказал:

– Врет, конечно. Матильдой ее кличут.

Виктор кивнул и пошел на вялых ногах, жалко улыбаясь. Он чувствовал себя пустым дырявым мешком, смятым и ни на что не годным. Поднявшись на холм, он обернулся. Вокруг рассыпанных по зелени ярких палаток все бродило облако на лошадиных ногах, время от времени вздымая голову на благородной шее.

...Андрея он увидел издали. Тот стоял на скалистом выступе горы, похожем на отставленный локоть, там, где арча выгибалась саксофоном, и смотрел в его сторону. Странно, подумал он, Андрей давно должен был увидеть яркий анорак – почему он не окликнул меня?

Он закричал, замахал руками, и Андрей стал спускаться навстречу. Когда тот подходил, Виктор заговорил громко и нервно:

– погоди, не ругайся. Я все объясню. Ты здорово перетрусил? – Андрей подходил молча, и странным показалось его лицо: переболевшая ненависть была в лице и во взгляде.

– Ссук-кин сын... – проговорил Андрей сиплым шепотом. – Прогулялся? – и с чувством выматерился, что с ним редко случалось.

Виктор остановился.

– А... Почему шепотом? – растерянно спросил он.

– А песни пел всю ночь, – с ненавистью просипел Андрей, прошел мимо к палатке и швырнул внутрь ненужный уже фонарик.

Виктор только сейчас ощутил по-настоящему, что пережил, что передумал друг за эту ночь; представил, как рыскал тот по горам с фонариком, как сорвал голос, пытаясь докричаться, и вдруг такая нежность к этому обозленному мужику подкатила, что он даже засмеялся.

– погоди, Андрюха, – мягко проговорил он. – Ну, дай сказать... Я с того света вернулся. В сыпун угодил, чуть в ущелье не свалился. Полз по чайной ложке в час... Да я тебе расскажу – это целый роман! Меня альпинисты подобрали, чаем отпоили... – Он расстегнул анорак: – Во, видал – боевые ранения?

– Чего тебя к ущелью понесло, идиот? – просипел Андрей, не смягчая ненавидящего взгляда.

– Да собака пристала, дурная, одноухая...

Он вспомнил собаку, и вдруг такая тоска и усталость навалились, что расхотелось рассказывать об этой ночи.

– Ты водки выпей, – проговорил он виновато. – Выпей водки и ляг, поспи. А главное – молчи, не разговаривай...

В палатке Андрей лег на спальник и прикрыл глаза. Но по тому, как вздрагивали веки, как дергались желваки на скулах, Виктор видел, что Андрея не отпускает страшное напряжение пережитой ночи. Самому ему ужас этой ночи казался уже бредовым наваждением, которое надо забыть поскорее.

Он снял анорак, подивился размерам его хозяина, хотя сам был не из щуплых, и натянул свой тонкий джемпер.

– Не забыть бы ребятам вернуть, – сказал он, бросая анорак в угол палатки. – Прекрасные ребята... Можно пойти к ним вечером... А можно к чабанам махнуть. Взять пузырек и

махнуть. Они тут недалеко... – И вспомнил егеря: «Баран резать будем, шурпа, плов варить будем...»

Андрей молчал. Веки его подрагивали.

– Знаешь, а ведь именно здесь погибла группа Позднышева, – вспомнил Виктор. – Именно здесь... Странно, правда? Ты знал это?

– Нет, скажи, – Андрей вдруг сел рывком, сжал руками приподнятые колени. – Скажи, почему от тебя всем плохо?

Вопрос был неожиданным, во всяком случае, никогда он не думал, что услышит его от Андрея. Это была реплика Ирины, и в подобных схватках он умел отражать удары – слава богу, закаленный боец. Но сейчас слова Андрея – неловкие, сказанные смешным старушечьим голосом – ударили его неожиданно и сильно.

– Почему – всем? Что ты, Андрюха... – растерянно забормотал он. – Ты успокойся, расслабься... Ты просто перенервничал... По-твоему, я ради удовольствия в сыпуне катался?

– Да! Ради удовольствия, – просипел Андрей.

Он натянуто хмыкнул:

– Ну, дед, ты умом тронулся...

– Ты на любую опасность прешь – знаешь почему? – напористо спросил Андрей, не обращая внимания на его реплику. – Тебе надо себя убедить, что ты настоящий мужик. Что ты – человек поступка. Что ты живешь настоящей жизнью! А ты не живешь!

– Да ну! – он прищурился, пытаясь скрыть растерянность.

– Да! Ты не живешь, а тянешь жизнь, как тянут время перед визитом к зубному врачу. Ну это – хрен с тобой, горбатого – могила, но ты же и близкие жизни мытаришь. Ты сколько лет Ирине душу треплешь?

– Ну ты Ирину оставь! – глухо оборвал он Андрея. – Это моя беда, я сам разберусь.

– Восемь лет разбираешься, Илья успел вырасти без мужика!

– А ты не лезь в это дело! Что ты о нас троих знаешь? Я сказал – моя беда, не тронь!

– Да никакая не беда. Ты эту беду сам смастерил. Против Ирины мать как щит выставил. Разом от обеих спасся... А мать? Ей сладко с тобой?

– При чем тут мать?! – крикнул он. – Чего ты о матери вспомнил? О себе заботься, судия хренов!

– Да потому, что ты весь тут: перейти к Ирине – так мать нельзя оставить, а уехать в горы на пять дней – можно, а что там за эти пять дней с матерью будет – соседка приглядит, да? – От того, что Андрей говорил не своим, сорванным, будто шаркающим голосом, было даже страшно – будто и не друг с ним говорил, а кто-то чужой и беспощадный... – А тебе все – ничего, все шуточки... Вот где у меня твои шуточки! твои хохмы с рубашкой!

– С какой рубашкой?!

– С такой! Вон она валяется, я ее на рассвете подобрал... Остроумно придумал, стервец: собственное чучело изготовил и живописно так между камней уложил, ни дать ни взять – Виктор без башки валяется. Я, пока к этой рубашке бежал, думал – спячу, не добегу, сердце разорвется... Орал как резанный, голос сорвал...

– Да эта рубашка!.. Да выслушай меня! Дай сказать! – он не на шутку разозлился на Андрея.

– Не дам! Я всю ночь, пока по горам спотыкался, всю ночь о тебе думал, о твоей жизни! И ты изволь выслушать! Оглянись вокруг – всем от тебя плохо!

– Да кому еще?! Кому плохо?! – запальчиво, озлобленно крикнул он. – Тебе плохо? Вере твоей плохо?

– Плохо Вере! – выкрикнул вдруг Андрей петушиным голосом. Бешеные зрачки его пронзительно голубели в кровавых прожилках. – Плохо. И ты это знаешь! Ты знаешь, что она-то всю жизнь тебя любит! С института еще...

Виктор дернулся, как от тока.

– Дурак! – ошеломленно пробормотал он. – Совсем спятил! – И понял вдруг совершенно отчетливо, что тяжкие слова Андрея – чистая правда. И сник, подавленный.

– Скажешь – не видел, как она смотрит на тебя? Скажешь – не знал, что за меня она от безнадёги вышла?.. А я – как проклятый, всю жизнь – как на вулкане... живу и трясусь: вдруг ты на нее глаз положишь, вдруг разом и жену мою, и пацанов прикарманишь... – Андрей говорил страшным шепотом. – а она ведь пойдет за тобой... Пойдет, я знаю...

Он, как слепец, шарил руками по спальнику – искал пачку сигарет. И от этого беспомощного жеста, и от того, что говорил Андрей как кровью харкал, – пронзительная жалость к другу, жалость и любовь окатили его, смыли сиюминутные обиды, оставив только одну, главную, страшную обиду, усмирить которую не было сил. Он подался к Андрею, рванул его за плечо, стал трясти, выкрикивая, всхлипывая:

– Андрюха, ты что?! Ты что-о-о?! Как ты мог такое, гад, сволочь? Сколько лет?! Я предавал тебя?! Скажи, я предавал?! А на реке... когда мы оба... оба могли... как Костя Мальцев... я тебя предал?

Андрей молчал, сжимая в трясущихся пальцах пачку сигарет. Он отпустил плечо Андрея.

– Так, выходит, плохо всем? – горько спросил он. – И лучше бы мне там, вчера, не цепляться за кустики, не выползать? И всем сразу стало бы легче жить?..

Он рванулся из палатки, быстро пошел куда-то в сторону, по веселой, крапчатой, желто-сине-зеленой травке, и долго так шел, пытаясь успокоить колотящуюся в горьком ознобе душу.

Потом увидел далеко внизу петлю дороги, по которой божьей коровкой ползла красная легковушка, и вдруг, решив все для себя разом, стал спускаться...

Через час он уже сидел на остановке, возле придорожного магазинчика-стекляшки, ждал попутки или автобуса, который ходил здесь редко, раз в два-три часа.

Из магазина вышли двое: девчушка-альпинистка и верный ее «анорак». Он тащил сумку, доверху груженную ржаными буханками с крутой обугленной коркой.

Увидев его, «анорак» приветственно вскинул ручищу:

– Салют каскадерам! Давно не видались.

– Здорово, – бормотнул он.

– А мы вот за хлебом спустились, – объяснила девчушка. При ярком свете дня она оказалась еще и конопатенькой. «Анорак», наоборот, был парнем видным, розовощеким, русоволосым, шапочка с бомбоном сидела на нем игриво и ненужно, как на утесе.

Виктор достал пачку сигарет, и «анорак» вытянул одну аккуратно большими, загорбевшими от возни с костром пальцами. Закурили.

– А ты что – уезжаешь? – спросил «анорак».

– Да, нужно в город, – обронил он. – Твоя куртка в палатке осталась, у друга. Он будет возвращаться – занесет.

– Да ладно, – улыбнулась девчушка. – Я эти анораки для всей группы настрочила. В день по штуке. Можете себе оставить, на память. А Сашке я другой сошью.

– Ну спасибо, – пробормотал он.

– Бывай. Удачи! – Парень хлопнул ручищей по его протянутой ладони, и вдвоем с девушкой они пошли через дорогу, к холмам. Но «анорак» вдруг обернулся и спросил: – Слушай, ты собаку здесь не встречал? Белая такая, в черных пятнах, одно ухо обрублено?.. Ласковая такая, одна здесь в пещерке живет. Ко всем идет, всех любит...

– Пропала куда-то, – пояснила девчушка. Солнце било ей в глаза, и она трогательно жмурилась. – Мы ее подкармливали... Жалко...

– Нет, – мотнул он головой, хмурясь и глядя мимо ребят, на холмы. – Нет, не встречал...

Они долго взбирались на гору, оживленно переговариваясь, потом скрылись из виду.

...Он сидел один на пустынном шоссе. Отсюда, с деревянной лавочки, просматривался только виток дороги, до ближайшей горки. Ему вдруг пришло в голову, что это похоже на его жизнь: виден и понятен только кусочек ее, один виток – сегодняшний день...

Он сидел один на один со своим сегодняшним днем и убеждал себя, что все не зря и даже эта нелепая поездка в горы и эта страшная ночь были необходимы для него, потому что теперь уж он знает – что делать и как жить. Ему бы только доехать сейчас, дойти, доползти сейчас до нее, до Ирины. Доволочиться до ее двери, обитой коричневым дерматином. Только нажать на кнопку звонка...

...Время от времени он приходил к ней – навсегда.



Заклятье

– Вы верите в прорицателей?

– Простите?..

– Ну, в предсказателей, в гадалок... в тех, кто предсказывает судьбу, – верите? – Она смотрела на меня беспокойным требовательным взглядом. – Вы же писатель, вас должно это интересовать!

Часа три назад мы познакомились на дне рождения у общих приятелей, хотя слышала я о ней давно. В последние годы ее имя дизайнера высокой моды приобрело известность в самых разных кругах. Когда-то я даже купила набор серебряных украшений, выполненных по ее изысканному дизайну. Она и сама была изысканной, стильной: высокая, с ярким тюркским лицом, с тяжелыми черными волосами, прихваченными на затылке резной заколкой из слоновой кости, одета она была просто и дорого-небрежно. Так обычно и одеваются эти, собственно, сочинители моды, словно на себя у них не хватает времени или сил...

Мы вместе вышли из квартиры наших друзей, обнаружив, что живем недалеко друг от друга. Она была на машине и любезно предложила подбросить меня до дома.

– Что вы имеете в виду под предсказанием?

– Я говорю о буквально назначенном сроке, знаете, совершенно в библейском духе: «Твой час настал, ты взвешен на весах и признан легким...»

– Ну, это, знаете ли, зависит от обстоятельств, от настроения, от ожиданий... Бывают экзальтированные личности, которые любое совпадение...

Она перебила нетерпеливо:

– Я хочу рассказать вам свою историю... Давно хотела рассказать ее кому-то, кто не просто послушает и поахает... Признаться, сегодня я пришла именно затем, чтобы познакомиться с вами... Я вас читаю, и можно не буду говорить все эти банальности, которые, я уверена, вы и так слышите от читателей-поклонников? Дело в том, что моя история, хотя прошло уже несколько лет, не дает мне покоя, не отпускает... Знаете, так бывает, когда вы уходите из дому и вдруг вас начинает точить мысль, что вы оставили на плите чайник или кастрюльку... И хотя вы вроде точно помните, что выключили газ, эта проклятая засевшая мысль все же держит вас на крючке и не дает расслабиться...

Я промолчала... Почему-то многим посторонним или едва знакомым людям кажется, что я достойна того, чтобы обрушить на меня сюжет чьей-то жизни. Очевидно, я произвожу впечатление акына... Обычно я выслушиваю все с чрезвычайно внимательным видом, после чего забываю... Ведь писателю легче всего сочинить именно историю, сюжет... И гораздо труднее вдохнуть в придуманных героев дыхание жизни.

– Если у вас нет настроения, можете послать меня к дьяволу... – вдруг сказала она.

Я обернулась и посмотрела на нее. Было что-то скорбно-патрицианское в ее горбоносом профиле, отраженном в боковом стекле машины...

– Нет-нет, что вы, – торопливо уверила я, – конечно, мне будет...

И опять она перебила меня, и в тоне, в напряжении голоса чувствовалась застарелая измученность, которая, по-видимому, не отпускала ее ни на минуту...

– Не называю фамилии моего мужа, вы не могли его знать... Да это и не имеет значения.

Мы познакомились на международной конференции дизайнеров в Париже... Знаете, это была одна из первых грандиозных тусовок профессионалов нашего дела. Конец восьмидесятых. Новые веяния истории, новые возможности, международный интерес к России... Да и просто молодость, наконец... Наша персональная молодость...

На банкете по случаю окончания конференции ко мне подошел один из наших русских людей, который уже несколько лет работал в Париже. Ему удалось зацепиться в одной дизай-

нерской фирме, и он только-только начинал карабкаться по этой крутой лестнице... Мы были бегло знакомы в Москве через каких-то общих друзей. А тут за три дня конференции познакомились ближе, как-то *увидели* друг друга...

Словом, на банкете мы с ним спустились в бар отеля, заказали – не помню уже – что-то спиртное и остались сидеть за стойкой, болтая...

Боковым зрением я видела, как слева подошла какая-то женщина, протянула бармену пустой бокал, который тот сразу и наполнил... Тогда она повернулась к Мише (его звали Мишей) и что-то проговорила по-французски.

Это была не старая женщина, но явно опустившаяся, я даже приняла ее за проститутку, высматривающую клиента... Внешне ничего особенного – крашеная блондинка средних лет, простое лицо, но, знаете, фигура истинной француженки: есть в них, даже самых неказистых, некая грация в осанке...

У Миши после ее слов стало такое растерянное лицо. Он улыбнулся, видно было, с усилием, что-то ответил ей и повернулся ко мне.

– Что она сказала? – спросила я.

– Это гадалка, – ответил Миша, глядя мне в глаза. – Она говорит, что раскинула сейчас карты и видит, что мы будем вместе ровно семь лет...

Меня словно толкнули прямо в сердце. А он накрыл своей рукой мою, лежащую на стойке бара, сжал ее, и так, не разжимая рук, мы поднялись в мой номер...

Ну, что вам сказать... Оба мы были люди зрелые, оба любили и ошибались, у обоих за плечами было уже по одному крушению в жизни... Неспokoйные, мнительные, требовательные друг к другу...

Началась сумасшедшая жизнь в самолетах, короткие встречи, истеричная, постоянно выясняющая отношения любовь, эти вечные ссоры в аэропортах перед самым отлетом... Он едва начал завоевывать имя в профессиональных архитектурных кругах Парижа и требовал, чтобы я перебиралась к нему. Я же любила свою Москву, свое – потрясающе интересное – дело и тоже не желала ничем поступиться. У меня здесь в то время наметились два важных проекта, оба – завязанных на известных дизайнерах высокой моды... Так что я тянула мужа назад, в Россию...

Господи, сколько мы налетали этих часов! Сколько раз мы ссорились, расставались навсегда, сколько раз я уезжала, чтобы никогда больше не вернуться к нему! И каждый раз, проплакав все время полета, едва войдя в квартиру и включив автоответчик, обнаруживала его насмешливый голос:

– Сбежала? Думаешь, освободилась, избавилась от меня? Нет уж, голубушка, против заклатья не попрешь, семь лет – мои – еще не кончились!..

...Однажды, стоя под душем, я вяло вспоминала – какое сегодня число? И вдруг поняла, что сегодня – семь лет, ровно семь лет, как мы спаяны порознь-вместе.

Я захохотала, подставила лицо под колкие струи воды, подумала: вот сейчас вылезу из ванны, вытрусь насухо, быстро оденусь, соберу сумку и успею в аэропорт к парижскому самолету. Свалюсь как снег на голову, и мы отпразднуем вместе этот юбилей, этот странный крючок, не давший нам расстаться...

Едва вышла из ванной, зазвонил телефон. Это был наш общий друг, известный парижский художник, тоже из русских...

– Вика... – сказал он, то ли что-то с трудом прожевывая, то ли что-то мучительно сглатывая, – час назад... на моих глазах... На моих глазах умер Миша...

– Вам удобно, если я заеду со стороны Ржевского? – спросила она после нескольких мгновений молчания.

– Да, спасибо... Какая поразительная история!

– Он вышел из подъезда своего дома, столкнулся с нашим другом и сказал, что едет в аэропорт, хочет сделать мне сюрприз... Надо, сказал, отметить одну сакраментальную дату. Так и сказал – «сакраментальную»... Был, говорят, в отличном настроении, торопился... Они попрощались, Миша отошел шагов на пять и упал на тротуар замертво...

Она подъехала к моему дому, выключила зажигание... Я не могла выйти из машины просто так. Но и что сказать этой измученной душе – не находила...

– Несколько дней я кричала... – продолжала она вяло, словно с окончанием истории сразу сникла, устала. – Потом обвыкла... Но, знаете, не дает мне покоя это заклятье! Я даже искать ее принималась, гадалку... Расспрашивала друзей, подстерегала ее в том баре... Она как сквозь землю провалилась... Никто и вспомнить не мог – была ли такая...

– Не хотите зайти ко мне на чашку кофе? – спросила я, понимая, что надо бы ее обогреть, но не умея, к сожалению, быть внезапно сердечной с полужнакомыми людьми.

– Нет-нет, благодарю вас! У меня сегодня еще деловая встреча... Очень тронута тем, как вы... Мне это было важно, поверьте...

Она включила зажигание, я вышла и хлопнула дверцей. Она развернулась и, выезжая со двора, еще раз помахала мне из глубины темной машины...



Бессонница

Давид сам приехал в аэропорт встретить Мишу, и тому это было приятно и лестно. Давид Гудиани возглавлял созданный им много лет назад Музей современного искусства, в котором висели и несколько Мишиных картин из цикла «На крышах Тбилиси».

Они не виделись больше двадцати лет. Когда в семидесятых Миша уехал в Америку, сгинув в Зазеркалье навсегда, – никто из них не надеялся, что однажды обнимет другого. И вот они обнялись – тесно, крепко, обхлопывая спину и плечи друг друга, чуть не плача от радости. Давид, конечно, постарел, поседел – все мы не мальчики, – но был по-прежнему горяч, поджар и чертовски остроумен. Не человек, а бенгальский огонь.

Миша знал, что десять лет назад у Давида произошла трагедия – в авиакатастрофе погибли жена и сын. Он читал некролог в «Советской культуре», привезенной в Нью-Йорк одним общим знакомым несколько месяцев спустя после их гибели, – Нина Гудиани была известной балериной... Говорили, Давид чуть не умер, год валялся по психушкам, пил горькую, но – выкарабкался. Единственно – не летал и аэропорты объезжал за много верст. Именно поэтому Миша был удивлен и растроган, что Давид приехал встретить его сам, хотя мог послать любого из своих подчиненных.

И вот, энергичный и подтянутый, он уже с места в карьер везет старого приятеля смотреть свое детище, Музей современного искусства.

– Мы еще с тобой ого-го, старик! – повторял он, хохоча и кося коричневым глазом из-под полей элегантной шляпы. – Мы еще дадим бабам порошу! Я тебя познакомлю здесь с такими девочками! Ты останешься, поверь мне, останешься!!!

...Весь тот первый день они мотались по мастерским и выставкам, а вечером, прихватив двух молодых художников и трех неизвестно откуда возникших девиц, поехали за город – обедать в какую-то модную таверну, потом успели на презентацию новой книги известного прозаика и в конце концов завалились до глубокой ночи к одной знаменитой актрисе, приятельнице Давида...

Часу в пятом утра оказались дома, и Миша – в чем стоял – рухнул на диван в кабинете хозяина, мгновенно уснув. Но Давид вошел, растормошил его, приговаривая: «Хватит спать, дома спать будешь!» – сварил кофе, и они проболтали до утра – о друзьях, разбросанных по странам, об искусстве, о современной живописи, которой оба по-разному служили всю жизнь.

А наутро повторилось все то же – явились художники и два поэта, все поехали в театр на прогон новой пьесы, потом очутились на открытии конференции, посвященной бог знает чему, затем оказались в мастерской какого-то скульптора... А вечером Давид пригласил к себе целую компанию, которая гуляла всю ночь и разошлась только под утро.

На третьи сутки ошалевший от буйных и бессонных празднеств Миша взмолился:

– Давид, дай хоть эту ночь поспать по-человечески. Ну нет же сил!

Тот сник, опустил плечи, пробормотал:

– Да... Да, конечно, отдыхай... Отдыхай, дорогой...

Вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Мише показалось, что друг обиделся, он вскочил и пошел за ним на кухню. Давид обрадовался, засуетился:

– Хочешь, кофе тебе сварю?

– Да я уже весь трясусь от твоего кофе! – воскликнул Миша. – Давид, Давид!.. Неужели ты не видишь, что болен?! Что с тобой творится? Ты страшно возбужден, ты совсем не спишь!

– Не сплю, – согласился тот. – Совсем не сплю. Никогда.

– Почему?!

Давид отвернулся и, помолчав, обронил тихо:

– Боюсь...

...Он всегда был любимцем женщин и всегда изменял жене, и это не значило ровным счетом ничего: семья составляла для него стержень жизни, и день был хорош или не очень в зависимости от того, в каком настроении Нина просыпалась. Дочь знаменитого тбилисского адвоката, прима-балерина Государственного театра оперы и балета, маленькая, с царственно прямой спиной и тихим властным голосом, – когда она появлялась перед людьми, Давид переставал быть центром внимания и становился просто – мужем Нины.

Тем августом они собирались всей семьей погостить у друзей в Ленинграде. Билеты были куплены задолго – двенадцатилетний сын и сама Нина давно мечтали об этой поездке.

Но за день до полета позвонили из музея: в одном из центральных залов прорвало батарею, и, хотя картины вовремя эвакуированы, надо срочно что-то решать с ремонтом. Нина расстроилась, хотела сдать билеты, но Давид уговорил ее лететь – он догонит их в Питере дня через три-четыре, как только наладит здесь работу ремонтной бригады.

Было еще одно обстоятельство, из-за которого он втайне желал остаться один на пару дней: ему предстояло отремонтировать кое-что еще, вернее, наоборот, разрушить до основания. Всегда осторожный и осмотрительный в отношениях с женщинами, он, похоже, на этот раз заигрался. Очередная пассия, хорошенькая аспирантка местного университета, заявила, что претендует на большее в его жизни, чем мимолетный роман, закатывала истерики, грозила позвонить Нине. Взбешенный Давид, разумеется, оборвал эту связь, но девица оказалась опытным тактиком: глубокой ночью или ранним утром в квартире раздавались звонки... Он бросался к телефону... Трубка молчала.

Совершенно истерзанный Давид не знал, что делать – то ли убить мерзавку, то ли молить ее о пощаде.

На сей раз звонок раздался буквально за пять минут до выхода из дома – такси в аэропорт уже ждало их у подъезда. Как он мог прозевать момент, как мог допустить, чтобы Нина подошла к телефону?!

Она стояла к нему спиной – он так любил ее гордую спину, маленькую аккуратную голову, склонившуюся к трубке! Молча слушала, не прерывая. Наконец сказала:

– Вы ошиблись номером. Вычеркните его из записной книжки. Здесь живет семья Давида Гудиани и собирается жить еще много лет в том же составе.

– Кто это?! – крикнул он, обмирая от страха. – Кто?!

– Никто, – ответила она спокойно, не глядя на него. – Ты же слышал – ошиблись номером... Резо, не забудь куртку. Твоя кепка у меня в сумочке...

И до самолета не проронила ни слова, что было для него самым страшным.

Он проводил их до трапа, расцеловал сына, повернулся к жене и сказал хрипло и умоляюще:

– Нина, душа моя...

Она молча пошла вверх по трапу. Он смотрел вслед, бессознательно, сквозь сжимающий сердце страх любуясь ее великолепной осанкой. На последней ступени она обернулась и сказала спокойно и властно:

«Давид! Я жду тебя...»

– ...Понимаешь, – говорил он, – днем еще ничего. Друзья, суета, дела всякие... А ночи боюсь. Боюсь уснуть... Стоит мне закрыть глаза – она уходит от меня по трапу самолета... Ее царственная спина, прекрасней которой я не видел в жизни... И каждую ночь она оборачивается... Она оборачивается и говорит мне: «Давид! Я жду тебя...»



Двое на крыше

Мне очень нравилась эта девочка. В шестом классе мы сидели за одной партой, а в седьмом ее пересадили. Но каждый день после школы мы возвращались домой одной дорогой, хотя для этого мне приходилось делать приличный крюк.

Она жила на Кашгарке, в одном из тех огромных коммунальных ташкентских дворов, застроенных кривыми мазанками, которые как и где придется налепили после войны эвакуированные.

Я очень любил эту дорогу с Наташей. Сначала мы шли по бульвару, засаженному карагачами и платанами, потом – мимо старого узбекского кладбища, заросшего травой, потом поднимались на взгорок, с которого ее двор открывался весь целиком, с веревками, груженными бельем, играющей ребятней и косыми, крытыми черным толем крышами низеньких сараев.

В тот день она торопилась домой и была радостно возбуждена: ждала отца из дальней какой-то поездки. И всю дорогу приговаривала: «Вот приду, а папа дома!» Просто ни о чем другом в тот день не могла говорить – даже досадно было.

Когда взобрались на горку и вниз, как всегда, открылся весь ее двор с черными заплакатами толевых крыш, мы остановились как вкопанные: сначала увидели толпу во дворе, машину «Скорой помощи» и милицейский «воронок»...

А потом заметили этих двоих на крыше сарая.

Мужчина и женщина лежали рядом в спокойных позах, как бы отдыхая, и между ними так же спокойно лежала двустволка.

Наташа вдруг вскрикнула, заплакала и побежала вниз. Она узнала этих двоих издали. А я еще несколько мгновений не мог сдвинуться с места. Меня потрясли покой и красота их тел. Касаясь головами друг друга, вольно раскинув руки, посреди причитаний и суеты двора, они лежали на черной крыше сарая, как на уплывающем в небо плоту.

Наконец, преодолевая страх, я спустился вниз, подошел к воротам, в которых собралась толпа, и услышал, как соседка рассказывала кому-то:

– Что на него нашло – не знаю, так хорошо жили! То ли застал ее с кем, то ли она велела ему собраться и уйти... кто уж сейчас может знать! Видели только, как выскочил он за ней с двустволкой... Она бегала от него по двору, кричала: «Саша, ты бредишь! Ты бредишь, Саша!!!» Потом по лесенке взлетела на крышу сарая. А он поднял так ружье, прицелился и выстрелил. Ну, она упала молчком, даже пикнуть не успела... Он же стрелок, спортсмен... все, бывало, на соревнованиях... Ну, и взобрался к ней на крышу, обхватил этак ее голову и как завоет! Господи, и страшно как завыл, словно как пес! Мы хотели подойти к нему, кричали снизу: «Саша, Саша, миленький, брось ружье!» Никого не подпускал. Всех нас, при ком вырос вот в этом самом дворе, – на мушке держал. Ну а уж когда «воронок» во двор въехал, он себя-то и порешил...

Она еще говорила, что вот, оставил, безумец, дочь круглой сиротой... Я огляделся, ища глазами Наташу... ее нигде не было, должно быть, соседи увели. Побрел назад, поднялся на взгорок и долго еще, пока не забрали их, смотрел, как на крыше сарая уплывали в небо мужчина и женщина, погибшие так загадочно и страшно.

Придя домой, я лег на диван в столовой и, отвернувшись к стене, долго лежал, не в силах думать ни о чем другом.

Впервые в своей жизни я видел мертвых. И они не внушали страха, наоборот – они были прекрасны, хотя в то время я, конечно, не мыслил такими словами и вообще не слишком отдавал себе отчет в своих переживаниях. «И это – смерть? – думал я. – Смерть... Так вот она какая...»

Наташу я больше не видел. За ней приехала из Самарканда тетка матери, увезла к себе. Она сначала писала мне – про новый класс, про город... ни слова о том, из-за чего мы расстались... А еще через год моя семья переехала в Москву, и переписка с Наташей угасла. Не знаю, где она сейчас, вспоминает ли нашу дорогу из школы – по бульвару, меж платанов и карагачей, мимо старого узбекского кладбища, поросшего травой...

Но еще много лет при упоминании о смерти, любой смерти, в моем воображении возникало нечто величественное, вольное и прекрасное – вроде тех двоих, уплывающих в синее небо на черной крыше сарая...



И когда она упала...

Лена Батищева – грузная, решительная – ходит в брюках, просторных свитерах и ботинках на рифленой подошве. Когда опаздывает, а опаздывает всегда, сильно топает, так что коллеги узнают о ее приближении задолго до непосредственного появления. Так вот, Лена Батищева, чья жизнь – череда безответных или – что еще хуже – ответных любовей, работает редактором в журнале «Школьная психология».

Недавно американский благотворительный фонд организовал семинар по проблемам воспитания умственно отсталых детей. Лену тоже пригласили участвовать. И целую неделю по этому случаю она жила в гостинице «Россия», хотя до собственного дома могла добраться за час. Но надо же воспользоваться удачей, правда? Когда еще так подфартит...

А в завершение семинара американцы подарили всем участникам культпоход в Большой театр на «Пиковую даму». В роли Старухи – Илзе Лиепа.

Все-таки событие. Ведь нечасто, согласитесь, ходим мы в Большой театр, даже и живя в этом городе. Вот в пятом классе, помнится, ходили на «Руслана и Людмилу», ну, в восьмом на «Русалку»... а потом уже редковато получается...

Лена решила по этому случаю вылезти наконец из брюк и надеть чуть ли не единственное свое нарядное платье. Ну а где платье, там и неперенный расход – колготки. Хорошие купила, телесного цвета, достаточно дорогие – рублей девяносто пять что-нибудь... Да оказались колготки с брачком, буквально минут через двадцать в них лопнула резинка. Когда группа выходила из автобуса, колготки на Лене стали стремительно сползать. Лена, как в детстве, начала ступать, широко расставляя ноги, чтоб удержать эти проклятые колготки хотя бы на уровне колен. А в вестибюле Большого театра первым делом устремилась в туалет, где немедленно их стащила и просто сунула голые ноги в зимние сапоги. Провозилась, понятно, то-се... когда наконец вышла, выяснилось, что ее группа уже прошла контроль и поднялась наверх.

Лена не сразу поняла свое бедственное положение. Сначала она улыбалась билетерше – кремневой старухе с веками опущенными, как у Вия, объясняла, что вот, случилась такая интимная неполадка с нижним бельем, а билеты у руководителя группы... Пробовала даже докричаться, отсылая куда-то вверх по великолепной, но нуждающейся в ремонте лестнице горловые трели: «Бо-ор-ря, Бо-ор-рь!..»

Все было тщетно. Старуха неколебима.

– Вы что, думаете, я вру, что у меня был билет?!

– Женщина, – отвечает та, – вот и держали бы свой билет при себе...

В полном отчаянии Лена ринулась в кассы... в надежде, что хоть какой-то заваливший билетик там остался. Да где там! Вы ж понимаете, Большой театр, наша национальная гордость.

А уже третий звонок, а народ уже весь прошел в зал, в холле, между прочим, не топят и, между нами говоря, в ноги поддувает. Ну, и обидно!

– Послушайте, – говорит опять Лена билетерше. – Я же с вами по-человечески делюсь, такая вот оказия, резинка лопнула! Я же к вам с полной откровенностью!

– На что мне ваша откровенность?

– Ну, я не знаю – голые ноги вам показать?

– На что мне ваши голые ноги? – невозмутимо отвечает та, не поднимая своих тяжелых век. Смотрит только на уровне рук, на уровне подаваемых билетов. Такая производственная особенность взгляда. – Вот человек! – говорит. – Задницу готова показывать, только бы на халяву пройти.

– Вы... вы что несете?! – закричала Лена. – Я же объясняю вам... Моя группа давно прошла! Пустите меня, я вызову руководителя! Бо-ор-ря-а-а!!!

– Не орите, здесь Большой театр, а не подворотня...

- Пустите же на минутку, я вам этот билет принесу показать!!!
- Сейчас, пустила, – отвечает та.

И Лена понимает, что спектакль начался, а она при своих полных правах и при пустом ее конкретном кресле в девятом ряду амфитеатра должна стоять в холодном холле с голыми ногами на потеху гнусной бабке.

При этой мысли она ломанулась мимо старухи, та ринулась встречь, они сшиблись и некоторое время молча остервенело дрались, выворачивая друг другу локти.

Неумелая в драке Лена опять была отброшена, неприятель торжествовал, все было кончено. Она заплакала и потрусила к выходу, но у самых дверей обида пересилила гордость, она вернулась к старухе и проговорила умоляющим голосом:

– Ну послушайте! Ну посмотрите на меня внимательно, ну посмотрите, наконец, мне в глаза: неужели в моем возрасте и с моим лицом я стану врать вам, что у меня есть билет, когда его у меня нет?!

Растравленная боем билетерша впервые подняла на нее глаза, оказавшиеся абсолютно неинтересными глазами умученной жизнью пожилой женщины, опустила руку и сказала:

– Проходите...

А вечером, распаренная горячей ванной с лавандовым порошком – для успокоения нервов, – отпоенная маминым чаем, Лена звонила подруге и, захлебываясь, говорила:

– Как она танцевала, Илзе Лиэпа, как она танцевала! Она становилась то девушкой, то старухой, то девушкой, то старухой!.. И когда все было кончено... и Герман ушел, а она упала, – я испытала такое облегчение, такой взлет и безумие, такой душевный простор... каких в жизни своей не испытывала!..



Туман

1

Нежно застрекотал будильник: первая, обреченная на провал, попытка воскрешения Лазаря.

Сейчас стрекот перейдет в перетаптывание трех звоночков – такое *до-ми-соль* в ближний к тумбочке висок... Но и это еще не пытка. После инквизиторского арпеджио грянет подлый канкан, а вот до этого доводить уже не...

– Арка!.. Я улетела через три минуты!

Он выпростал из-под одеяла руку и на ощупь раздавил ненавистную кнопку.

– Ты когда это вчера явился? – спросила Надежда, навешивая перед зеркалом на свитер несколько рядов бедуинских бус. Она любила крупные броские восточные украшения, от которых его воротило. Иногда он говорил ей: «Ну что ты бренчишь монистами, как пятая жена хромого бедуина?»

Странно, что он еще не стал мизантропом с этой проклятой жизнью...

– Часа в четыре...

– Опять что-нибудь *веселенькое*? – Она остановилась в одном сапоге у двери. Второй в руках. Все еще лежа, Аркадий через дверь спальни разглядывал жену. Наконец рывком откинул одеяло и спустил ноги. Здравствуй, новый день, как бы тебя прожить.

– Да, самоубийство. Девушка покончила с собой, и очень странно это проделала... Ну ты только не трепись там в своей аптеке. Ничего еще не известно...

– Это кто... где?

Кажется, Надежда забыла, что собиралась «улетать» три минуты назад.

Аркадий молчал: ожесточенно скалясь, чистил в ванной зубы, и она дожидалась, когда он сплюнет.

– Ты, может, помнишь – такой пожилой полицейский, Валид... мы с ним столкнулись в Акко, в порту, после пикника на прошлый Юлькин день рождения.

– Не помню, – сказала она. – А что?

– Вот, его дочь. Старшая, незамужняя... Девушка-то она относительная, ей лет тридцать пять было... Есть еще младшая, теперь сможет выйти замуж. У *них* же младшая раньше старшей выскочить ни-ни...

– Ну, и что? – спросила Надежда, заранее раздражаясь. – Ты-то чего переживаешь? Прикончили они ее, что ли?

Он посмотрел в окно и ахнул: стена тумана – буквально, словно кто в двадцати сантиметрах от дома выставил глухой серый щит. Круглый фонарь у балкона укутан в вату и похож на яблоко «белый налив».

– Это как же я сегодня поеду? – спросил сам себя Аркадий. – А? Что ты сказала? Прикончили? Похоже на то...

– О-ос-с-пади! – воскликнула Надежда в проеме уже отворенной двери. – «И стоит, качаясь, тонкая рябина!» Ты ж сам говорил, что таких дел тьма-тьмушая – *они* своих баб как мух давят, режут и жгут! Ну и что теперь?

– Ладно, топай, опоздаешь... – буркнул он.

Надежда любила пройтись по его «нежной психике», с которой музыку вундеркиндам преподавать, а не с обгорелыми трупами возиться.

– Постой... – Она даже порог переступила обратно, в квартиру. – А ты разве имеешь право его допрашивать? Ты же говорил – дела, связанные с полицейскими, передают в Министерство юстиции?

– Надь! – крикнул он весело, натягивая свитер. – Бросай клизмы продавать, идем ко мне в следственную группу! Ты так законы знаешь, даже завидно.

Она хлопнула дверью.

Все, надо уже ехать к ежедневному селекторному совещанию, тем более что пробираться в зимнем тумане придется на ощупь. Но он все медлил... еще пять блаженных минут... Чашка кофе на своей кухне...

Надька-то молодец, вечная отличница, железная память. Да, скорее всего, дело передадут в Минюст. Но на этапе предварительного следствия попотеть придется именно ему, то есть его группе, отнюдь не великой. Цфат – город маленький: он сам да два сержанта-следователя – вот и вся могучая интеллектуальная наличность.

На столе лежала книга, которую уже дней пять с увлечением мусолила дочь, – «Ведьмы и колдуны». Завлекательное название.

Допивая кофе, он брезгливо пододвинул к себе этот шедевр с бородатым старцем шамановатого вида на глянцевой обложке. Открыл оглавление: да-да... «Черная месса»... «Пламя сатанизма»... «Охота на ведьм»... очень, очень хорошо! Выпороть безжалостно, вот что надо сделать с этой четырнадцатилетней ведьмой, у которой, если не ошибаюсь, там какой-то должок по математике.

Он пролистнул наугад две-три страницы: все ясно, обычный мусоросборник, куда валом накиданы статейки из какой-нибудь смоленской газетки «Русич» вперемешку со статьями из научных журналов. Так-так... «Охота на ведьм в западноевропейских странах». Господи, зачем это ребенку? Что она в этом находит? «...В Брауншвейге было воздвигнуто столько костров на площади казни, что современники сравнивали это место с сосновым лесом. В течение 1590–1600 годов были дни, когда сжигали по 10–12 ведьм в день. Магистрат города Нейссе соорудил особую печь, в которой в течение 9 лет были сожжены более тысячи ведьм: среди них и дети в возрасте от 2 до 4 лет... В свободном имперском городе Линдгейме 1631–1661 годы замечательны особенно жестокими преследованиями. Подозреваемых женщин бросали в ямы, «башни ведьм», и пытали до тех пор, пока...»

Захлопнул книгу. Поднялся, стал натягивать и шнуровать ботинки...

И пока надевал форменную куртку, выходил из подъезда в сырую вату зимнего утра, включал «дворники», разогревал мотор... перед глазами всплывали картинки вчерашней ночи, словно выныривая из кисельного тумана.

Просторный, пустоватый и чисто прибранный дом Валида – фотографии старцев в золоченых багетных рамках на стенах... Посреди большой парадной комнаты на первом этаже – печь-буржуйка с целым набором медных джезв; самая малая, с потеками сбежавшего кофе, еще остывает.

Валид с сыном сидели в разных углах дивана, безучастные к появлению в доме все новых лиц, грозно-замкнутые, как и полагается: *мужчины в горе*.

Умершая лежала в комнате на втором этаже, в своей кровати, укрытая одеялом под подбородок. Высокий ворот зеленого свитера придавал мертвому лицу землистую желтизну.

Заплаканная младшая сестра, в длинной галабие и белом платке, запахнувшим нижнюю часть лица, сидела сторбившись в кресле, искоса послеживая за странными челночными передвижениями следователя по комнате.

– Значит, вчера еще была здорова? – в третий раз уточнил Аркадий.

Та опять дежурно взывала. Он переждал, терпеливо и сострадательно глядя на девушку. Из-за этого платка, стершего губы и подбородок, ее большие красивые глаза чем-то напоми-

нали часы-ходики в подмосковном доме бабы Кати, под которыми он проспал все летнее детство.

Жива-здоровая, жива-здоровая, горячо подтвердила она. Только печальна... Все говорила, что ей жить надоело, и просила последить за нею, а то чувствует, что может покончить с собой.

Аркадий совершил по комнате бог знает какой по счету круг, опять остановился напротив девушки.

– Что ж ты не следила? – спросил он мягко.

– Я следила-следила, а потом заснула... – ответила та. – Просыпаюсь утром – а она мертвая.

Ага, вот почему эти глаза напоминают ходики: девушка все время держит в поле зрения Варду, которая сейчас растеклась телесами в соседнем кресле и, кажется, не прочь вздремнуть. Господи, дождется ли он ее ухода на пенсию в будущем году, чтобы вытребовать себе какого-нибудь шустрого парнишку и гонять его в хвост и в гриву, а не мотаться везде самому! В последние годы он жалел предпенсионную Варду и не дергал ее попусту. Что уж говорить, старушка накатала уважительную биографию; тридцать лет на одном месте. Кстати, у нее неплохая интуиция и поразительная бабская память на тряпки – может без запинки сказать, во что ты был одет, когда в прошлом году случайно столкнулся с ней в супермаркете. Однажды это сыграло-таки свою роль в расследовании безнадежного дела, и Варда заботилась, чтобы никто и никогда этого не забыл. Таким образом толстуха стала живой легендой еще до ухода на пенсию. Напрочь отсутствуют у нее только мозги. Однако сейчас она необходима, хоть и дремлющая: Валид с сыном – даже и растерянные, даже и парализованные неожиданным для них столпотворением в доме – ни за что не допустили бы уединения его, мужчины, с девушкой.

Он еще потоптался в комнате, дожидаясь вызванной им мобильной криминалистической лаборатории. Несколько раз останавливался и смотрел на изможденное каким-то тягучим страданием желтое лицо покойной... Казалось, нечеловеческая мука прочно угнездилась в этом теле, уже покинутом душой, и продолжает раздирать добычу.

Отвернулся и вышел на галерею, опоясывающую весь второй этаж.

Деревня погружалась в сон...

Лезвие новенького месяца на поверхности небесной глубины и крошечная неподалеку от него звезда казались фрагментами чьего-то лица, частью закрытого, – скажем, бровь и родинка на щеке. Сюда несло запахом навоза и дыма, во дворе отрывисто лаял пес, и где-то выше на горе постреливали с крыш: видать, кто-то что-то праздновал – *они* никогда не упускают возможности показать, что в доме есть оружие.

Аркадий достал из пачки сигарету, закурил.

В комнате за его спиной уже работал приехавший с лабораторией Рон Деген; на галерею невнятно доносился его спокойный голос – Рон беседовал с Вардой. У этих патологоанатомов, подумал Аркадий, всегда такое ровное настроение и такие уютные голоса, будто не жмуриков они потрошат, а орхидеи выращивают. Особенно Рон – никогда не повысит тона. Однако интересно, что он скажет об этом случае.

Опытный специалист, Рон обычно на глаз определял, надо ли забирать тело на вскрытие. Ибо это всегда означало скандал.

Ни один из живущих здесь народов, ни одна из многочисленных национальных групп не любили отдавать своих покойников на вскрытие. Нужны были чрезвычайные обстоятельства. Вон, ультраортодоксальные евреи – те и вовсе черт-те что вытворяют, чтобы вскрытия избежать: крадут тела родных из морга, из больниц. Само по себе это еще не означает ничего подозрительного.

К тому же семья была не чужой: и Валид, и его сын Салах служили в полиции...

У сына странные прозрачные глаза – травянисто-зеленые, красивые, но с еле приметной раскосиной; впечатление, будто смотрит сквозь тебя. Да еще под левым глазом дергается желвак, точно он подмигивает кому-то за твоей спиной.

Говорят, умершая сестра вынянчила его с младенчества – мать рано скончалась. Так что *эта* была ему как мать. То-то линейная патрульная служба, вызванная «Скорой», решила не мусолить дело, закрыть глаза – мол, семейная драма, к чему людям в душу лезть? И только въедливый Давид, везде и во всем подозревающий противоестественную смерть, настоял вызвать следователя.

Вот его-то мы и вытребуем себе вместо Варды. А что? Послать на курсы переквалификации... Парень с мозгами и принципами... Характер, правда, зловердный. Ничего, ничего... столкнемся.

Теперь предстояло самое неприятное: заставить родственников подписать бланк на разрешение вскрытия.

А может, бог с ним, с этим семейным делом, подумал он... Род приходит и род уходит, и ничего не меняется в этих деревнях с их вековым укладом, сиди здесь наместник Оттоманской империи, британский комиссар или начальник следственной группы полиции Израиля. Покончила девушка с собой, или ей помогли родственники... а не исключено, что и жертва и палачи слились в этом высоком деянии... Можно, конечно, пуститься в опасные дебри под названием «восстановление семейной чести» и, все вокруг разворотив, посчитать себя вершителем справедливости. Но никто из полутора тысяч живущих в деревне мужчин и женщин не посочувствует жертве и не поблагодарит полицию. Наоборот!

Однако интересно – что же натворила эта несчастная...

На галерею вышел Рон, оперся рядом на перила и негромко проговорил:

– А на шее-то у нее – странгуляционная борозда.

Аркадий затаился последний раз сигаретой, придавил окурочку о балясину каменных перил и отщелкнул вниз.

– Будем забирать, – сказал он.

Оглянулся на дверь в комнату, освещенную ярким светом пятирожковой люстры, отсюда, из темноты ночи, похожую на сцену. Там, по-прежнему страдальчески подняв брови над озорными глазками, сидела в кресле младшая дочь Валида.

– Здесь подожди, – сказал Аркадий, проходя мимо Варды, – я сам попытаюсь, по-хорошему... Они оба с пушками.



Всю неделю влажная муть носилась над горами Галилеи, ошметками облаков цепляясь за щетину хвойных лесов. Затем три дня подряд выпали ясными, земля запарила, задышала... С высоты Цфата озеро Кинерет, море Галилейское, казалось выпуклой продолговатой линзой. С такой точки обзора становилось совершенно очевидным, что земля кругла.

По склонам глубоких лощин кое-где стелился бело-розовый дымок, будто кто-то печет картошку; это просто зацвел миндаль.

Но к началу новой недели хлынули дожди и опять забыли за собой прибрать: все висели и висели в воздухе дырявые пары... Не рассеивались.

В понедельник пришли результаты вскрытия из института судебной экспертизы, в просторечии именуемого «Абу-Кабир», поскольку находился он рядом со знаменитым следственным изолятором того же названия.

Аркадий смотрел на голый колючий куст бугенвиллеи за стеклом. Летом пышный и рдьяный – мельком глянешь в окно, и такой глазу праздник! – сейчас он сиротливо дрожал на ветру, протыкая длинными колючками туманную вату.

Томительные зависания пауз, робкие всхлипы, одинокие потерянные созвучия: Дебюсси, этюды – вот что такое этот долгий туман. Этюды Дебюсси, которые так любил покойный Станислав Борисыч...

Он опустил глаза к стандартным бланкам, перечитал. Пробежал по столу быстрыми пальцами...

Он скучал по инструменту, к которому жизнь проклятая не подпускала ни на минуту, и часто проигрывал какой-нибудь пассаж на любой, что под руку попадалась, поверхности. Этюд Дебюсси он играл на панихиде по любимому профессору, в большом зале консерватории, где обычно выставляли гроб для прощания...

Почему, почему именно в периоды зимнего тумана особенно часто вспоминался Станислав Борисыч?

Он почесал ручкой за ухом...

Согласно результатам экспертизы, господа мои хорошие, девушка (он мысленно называл ее «старой девушкой») вовсе не была накануне «жива-здоровая-жива-здоровая»... а умирала четверо суток – страшно и мучительно. Это ж любо-дорого, что понаписали тут наши друзья из «Абу-Кабира»: и паралич дыхательной системы, и сожженный пищевод – увлекательная повесть, черт бы вас всех драл. Главное – смерть от инфаркта: видимо, не вынесла страданий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.